Научная статья /
Research Article

https://elibrary.ru/GVUUJB
УДК 82.0 + 821.161.1.0
ББК 83 + 83.3(2Рос=Рус)52

ПОНЯТИЕ МЕТАФИЗИЧЕСКОГО ЯЗЫКА И ПОЛИТИКА ПЕРЕВОДА У П.А. ВЯЗЕМСКОГО[1]

© 2023 г. Д.В. Токарев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Дата поступления статьи: 23 ноября 2022 г.
Дата одобрения рецензентами: 22 марта 2023 г.
Дата публикации: 25 декабря 2023 г.
https://doi.org/10.22455/2500-4247-2023-8-4-10-35

Аннотация: В статье обращается внимание на то, что понятие метафизического языка, периодически возникавшее в некоторых текстах Пушкина и Вяземского (а также Баратынского) в течение 1820-х гг. и вплоть до 1831 г., когда вышел перевод «Адольфа» Бенджамена Констана, осуществленный Вяземским, остается довольно туманным и неопределенным. Предпринимается попытка уточнить смысл этого понятия, которое возникает и у Констана, и у Вяземского как продукт «диалектики ума и чувств». Язык, выражающий эту диалектику, будет метафизическим в той степени, в какой он сможет отразить ее слогом, который, обходясь без риторических излишеств минувшей эпохи, транслирует «истину». Таким образом, язык «современной» метафизики должен быть языком не поэтическим, а практическим, т. е. настроенным на коммуникацию. Это язык политический, философский, военный и одновременно светский, нацеленный на решение прежде всего прагматических задач, язык формирующейся национальной и одновременно космополитичной элиты. Такой язык может быть образован только в процессе его «пытливого» сопоставления с другими языками, т. е. в процессе перевода, понимаемого не только как перевод конкретного иностранного текста, но и как перекодирование собственного языка, которому навязываются чуждые ему синтаксические и смысловые структуры.
Ключевые слова: метафизический язык, Вяземский, Пушкин, Констан, перевод.
Информация об авторе: Дмитрий Викторович Токарев — доктор филологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», наб. канала Грибоедова, д. 123, 190121 г. Санкт-Петербург, Россия; ведущий научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, наб. Макарова, д. 4, 199034 г. Санкт-Петербург, Россия. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0877-2916
E-mail: tokarevd@mail.ru
Для цитирования: *Токарев Д.В.* Понятие метафизического языка и политика перевода у П.А. Вяземского // Studia Litterarum. 2023. Т. 8, № 4. С. 10–35. https://doi.org/10.22455/2500-4247-2023-8-4-10-35

1 Автор статьи признателен Алине Бодровой за интересную дискуссию и ценные советы.



Studia Litterarum,
vol. 8, no. 4, 2023

THE NOTION OF METAPHYSICAL LANGUAGE AND THE POLICY OF TRANSLATION BY PYOTR VYASEMSKY

© 2023. Dmitry V. Tokarev
National Research University Higher School of Economics, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
Received: November 23, 2022
Approved after reviewing: March 22, 2023
Date of publication: December 25, 2023

Abstract: The article focuses on the notion of metaphysical language which appears periodically in some texts by P. Vyasemsky and A. Pushkin (as well as E. Baratynsky) through the 1820s and up to 1831, when Vyasemsky publishes his translation of Benjamin Constant's novel "Adolphe." We attempt to elucidate this rather vague and ambiguous notion, which functions in Constant and Vyasemsky as a product of the "dialectics of reason and emotions." The language that expresses this dialectics would be metaphysical insofar as it conveys the "truth." Less poetical than practical, this language of "contemporary" metaphysics aims at solving political, philosophical and military tasks and belongs to newborn Russian elite, both national and cosmopolitan. Such a language could be formed only by confronting other languages, i. e. by means of "translation" which presupposes a deconstruction of semantic and syntactical structures of the mother tongue.
Keywords: metaphysical language, Vyasemsky, Pushkin, Constant, translation.
Information about the author*:* Dmitry V. Tokarev, DSc in Philology, Professor, National Research University Higher School of Economics, Griboedov channel Emb., 123, 190121 St. Petersburg, Russia; Leading Research Fellow, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, Makarov Emb., 4, 199034 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0877-2916
E-mail: tokarevd@mail.ru
For citation: Tokarev, D.V. "The Notion of Metaphysical Language and the Policy of Translation by Pyotr Vyasemsky." *Studia Litterarum*, vol. 8, no. 4, 2023, pp. 10–35. (In Russ.) https://doi.org/10.22455/2500-4247-2023-8-4-10-35

Понятие метафизического языка, периодически возникавшее в переписке Пушкина и Вяземского (а также Баратынского) и в нескольких написанных ими критических статьях в течение 1820-х гг. и вплоть до 1831 г., когда вышел осуществленный Вяземским перевод романа «Адольф» ("Adolphe, anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu", 1816) Бенжамена Констана, остается довольно туманным и неопределенным, несмотря на усилия исследователей, пытающихся прояснить, связан ли этот язык напрямую с метафизикой как разделом философии или же речь скорее идет о некоем языке, который как бы предшествует философскому дискурсу и создает условия для его выработки. Здесь нужно упомянуть прежде всего работу Евгения Абдуллаева [1], в которой воссоздается исторический контекст и прослеживается связь этого понятия с немецкой философской мыслью. Абдуллаев справедливо трактует «метафизический язык» как язык мысли и язык современного, «философско-психологического» романа. В то же время в статье недостаточно учитывается переводоведческий аспект, хотя исследователь и упоминает о спорах о галлицизмах, актуальных для русской словесности в 1820-х гг.

Этот пробел восполняет в своих (более ранних, чем статья Абдуллаева) работах Вера Мильчина [7; 8; 9], акцентируя внимание на том, какую роль в формировании понятия метафизического языка сыграла собственно переводческая деятельность Вяземского, а также сам роман Констана, который, как показала исследовательница, современные ему французские критики обвиняли в излишней, «метафизической» темноте. При этом «метафизический язык» трактуется Мильчиной преимущественно как язык чувств, а не как язык мысли, что кажется не совсем оправданным.

В данной статье предпринимается попытка уточнить смысл этого понятия, которое должно рассматриваться в контексте усилий, предпринимаемых русскими писателями, и прежде всего Вяземским, в плане выработки нового русского языка, который, с одной стороны, будет национальным, а с другой — обретет наднациональный статус, коим обладал в свое время французский и который тщится приобрести в это время немецкий язык (см. далее). Такой язык может быть образован только в процессе его «пытливого» сопоставления с другими языками, т. е. в процессе перевода, понимаемого не только как перевод конкретного иностранного текста, но и как перекодирование собственного языка, которому навязываются чуждые ему синтаксические и смысловые структуры. Этот перевод-перекодировка осуществляется за счет сознательного отчуждения от своего родного языка, его дефамилиаризации. Как пишет Вяземский в предисловии к своему переводу, он имел цель «изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки, и выведать, сколько может он приблизиться к языку иностранному» [24, с. 34]. Вяземский критикует устаревшие переводческие практики не только с точки зрения их языковой неадекватности, но и за то, что они оказывались «отключены» от новой культурной парадигмы, в которой выбор переводчиком своего объекта перестает определяться только конъюнктурой книжного рынка или даже «модой» на того или иного автора, но становится сам предметом рефлексии, учитывающей политические, социальные и даже «метафизические» аспекты этого выбора.

«Набеги в области мыслей»

В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова» (1825) Пушкин высказывает мысль о назревшей необходимости создания языка русской прозы:

> Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени образованности: просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись;

> метафизического языка у нас вовсе не существует[2]. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны [32, с. 23].

Речь идет не о самой прозе, образцы которой (Карамзин, Нарежный и др.) имелись к тому времени в русской литературе, а именно о *языке* прозы, который должен отличаться от языка поэтического. Язык прозы будет метафизическим, поскольку сможет транслировать те темы, которые в русском обиходе пока что не имеют своего *языка,* а именно политические, ученые и философские. Но это не означает, что политика, наука и философия выработают этот язык; напротив, именно язык даст им возможность «заговорить». Язык создаст русскую политику, науку и философию[3]. Другими словами, сначала нужно создать язык прозы (и он будет отличаться от языка поэзии, так как не будет связан «играми гармонии и воображения»), а затем уже им смогут воспользоваться те сферы человеческой деятельности, которые связаны с «размышлением», рефлексией.

В опубликованной в том же году рецензии на книгу Дениса Давыдова «О разборе трех статей, помещенных в Записках Наполеона» (1825) Вяземский прибавляет к языку политическому также и язык военный, и тоже считает его «языком мысли»:

> Не будем забывать, что язык политический, язык военный, скажу наотрез — язык мысли вообще, мало и не многими у нас обработан. Хорошо не затеивать новизны тем, коим незачем выходить из колеи и выпускать вдаль ум домовитый и ручной; но повторяю: новые набеги в области мыслей требуют часто и нового порядка. От них книжный синтаксис, условная логика

2 Впервые Пушкин использует эту конструкцию в не опубликованной при жизни заметке «О причинах, замедливших ход нашей словесности…» (1824). Заметка была откликом на статью А. Бестужева (Марлинского) «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года».

3 Вспомним характерный эпизод из «Войны и мира», когда князь Андрей, заговорив со Сперанским о Монтескье, вынужден перейти на французский язык: «Я почитатель Montesquieu, — сказал князь Андрей. — И его мысль о том, что le principe des monarchies est l'honneur, me paraît incontestable. Certains droits et privilèges de la noblesse me paraissent être des moyens de soutenir ce sentiment» [37, с. 167].

частного языка могут пострадать, но есть синтаксис, есть логика общего ума, которые, не во гнев ученым будет сказано, также существуют <...> [23, с. 56].

Отметим энергичную лексику: язык мысли формируется с помощью «набегов», схожих с военными вылазками в стан врага, т. е. в область чужого языка; «трофеи», полученные таким образом, апроприируются языком-реципиентом, однако не без ущерба для его синтаксиса и «логики».

Метафизический язык, таким образом, формируется в диалоге с чужим языком, который (диалог) наиболее продуктивен именно в сфере перевода. Пушкин в письме к Вяземскому от 13 июля 1825 г. одобрительно отреагировал на размышления последнего:

> Сей час прочел твои замечания на замечания Дениса на замечания Наполеона, чудо-хорошо! твой слог живой и оригинальный тут еще живее и оригинальнее. Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизической язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного точного языка прозы — т. е. языка мыслей). Об этом есть у меня строфы три и в «Онегине». За твоею статьею следует моя[4] о M-me de Staël [33, с. 120].

В наиболее явном виде эта мысль о связи языка мысли и перевода была выражена в предисловии Вяземского к «Адольфу». Однако необходимый для ее восприятия контекст создавался и в процессе рецепции и перевода трудов мадам де Сталь.

Важно, что в своей знаменитой книге «О Германии» (1813) мадам де Сталь тесно связывает сферу политическую со сферой поэтической. Это тонко подметил Вяземский, который одним из первых в России познакомился с книгой[5]. В «Письме из Парижа» он называет Сталь Лютером французской литературы, связывая романтический «литературный переворот» в том числе и с переводческой деятельностью:

4 Имеется в виду статья «О г-же Сталь и о г. А. М-ве», где Пушкин, в частности, отмечает «ум и чувства необыкновенной женщины» [30, с. 17].

5 Во всяком случае, он просит А.И. Тургенева прислать ему экземпляр [28, т. 1, с. 25].

> Гизо, издатель французского перевода Шекспира, Барант, издатель перевода драматических творений Шиллера, Бенжамен Констан, который прозаическими стихами перевел и сократил трилогию Шиллера, но обогатил предисловием в прозе, исполненной поэзии и обильной соображениями новыми и яркими, должны быть почитаемы в числе деятельнейших побудителей нового движения в литературе французской и также в другом отношении известны за твердых поборников нового преобразования политического. На них, и вообще на всех споспешников литературного переворота, первая и более всех действовала г-жа Сталь: ее можно назвать Лютером французской литературы, а книгу ее «О Германии» — Кормчею книгою французского литературного протестантизма [25, с. 63].

Там же он пишет о том, что политическое следует отличать от собственно политики, и призывает брать пример с французов, чья поэзия «делает политику». Политическое не есть тем самым антипоэтическое; напротив, язык поэзии одухотворяет и даже формирует сферу политического, которая понимается как сфера выработки общественной пользы.

> Вы спрашиваете: что делает поэзия во Франции? Политику: можно отвечать не без основания, если не бояться бы галлицизма; впрочем, и политическая поэзия есть галлицизм литературный; да и где же позволительны галлицизмы, как не в Париже? <…> Но только примите политику в истинном ее значении, а не превратном, и тогда вы согласитесь, что направление, данное вообще в наши дни французской литературе, вовсе не антипоэтическое. То, что римляне называли *res publica,* французы называют *la chose publique* или *l'intérêt public*, а по-русски как назвать, право, не умею, потому что со мною нет здесь русского словаря, может и должно быть не чуждо литературе и поэзии… [25, с. 57]

Хотя Вяземский вроде бы намекает здесь на связь общественной пользы с республиканским строем, он имеет в виду, скорее всего, «республику словесности» (République des Lettres), транснациональное неформальное сообщество ученых и литераторов, разделяющих общие гуманистические идеалы. Их задача как раз и состоит в том, чтобы «называть», т. е. создавать язык, который будет оказывать влияние и на состояние общества.

«Метафизика должна претерпеть революцию»

В 1819–1824 гг. Александр Дмитриевич Боровков печатает свой перевод пяти философских главок книги де Сталь, в том числе «О философии французов» и «О философии англичан»[6]. Особенно интересна для нас главка об английской философии, куда входит и пассаж о Френсисе Бэконе, в котором, как нам кажется, содержится «ключ» к пониманию того, что кроется за концептом метафизического языка. Итак, рассуждения о Бэконе (с упоминанием Лютера) помогают мадам де Сталь сформулировать собственное видение будущего метафизики:

> Человеческий дух, говорит Лютер, как пьяный крестьянин «верхом на лошади: когда его поддерживают с одной стороны, он валится на другую». Так, человек без конца колебался между двумя свои природами: то его мысли отделяли его от его ощущений, то его ощущения вбирали в себя его мысли, и он хотел, соответственно, свести все либо к одному, либо к другому. Мне представляется, однако, что пришло время устойчивой доктрины: метафизика должна претерпеть революцию, подобную той, которую совершил Коперник в представлении о мировой системе; она должна вновь поставить нашу душу в центр и сделать ее похожей во всем на солнце, вокруг которого вертятся внешние объекты и у которого они заимствуют свой свет [38, с. 416].

На смену старой метафизике, построенной на разделении мысли и чувств, должна прийти новая, метафизика души, в которой мысли и чувства уравновесят друг друга в некоем диалектическом единстве:

> Душа — это вместилище, которое посылает свои лучи во всех направлениях; в нем заключается существование; все наблюдения и усилия философов должны обратиться к этому *я*, центру и движителю наших чувств и наших идей [38, с. 417].

6 Соревнователь просвещения и благотворения: Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей российской словесности. 1819. Ч. V. Кн. 2. С. 171–194; 1820. Ч. XI. Кн. 8. С. 147–160; кн. 9. С. 272–281; 1821. Ч. XIV. Кн. 3. С. 273–287; 1824. Ч. XXV. С. 225–254.

Эти две главки вышли в Петербурге отдельными тиснениями в 1820 и 1819 гг. соответственно.

Душа, таким образом, — это не источник лишь одних эмоций; она не эквивалентна сердцу и является сосредоточением также и умственных потребностей человека.

Заканчивается главка характерным «гамлетовским» вопросом, не чуждым и Адольфу: «Совсем нелишне задаться вопросом, может ли душа чувствовать и мыслить сама по себе. Это вопрос Гамлета — *быть или не быть*» [38, с. 425].

Чем так нравится «Адольф» Вяземскому? Прежде всего, тем, что «в сем романе должно искать не одной любовной биографии сердца: тут вся история его» [24, с. 33]. «История сердца» не сводится к его «биографии» и включает в себя и общественные, социальные отношения человека, т. е. то, что Вяземский называет «правилами», устанавливаемыми разумом:

> …чувства ничего без правил <…> если чувства могут быть благими вдохновениями, то одни правила должны быть надежными руководителями (так Колумб мог откровением гения угадать новый мир, но без компаса не мог бы открыть его) [24, с. 32].

Конечно, в романе Констана описываются сложные эмоции, которые герой испытывает к своей возлюбленной Элленоре, но, как справедливо отмечает В.А. Мильчина, это роман о «нелюбви» [9, с. 425], т. е. об отсутствии или, точнее, нехватке чувства. Именно ее Адольф делает объектом изощренного психологического анализа, при этом занимая двойственную позицию — он и испытывает эту нехватку, и анализирует ее как внешний наблюдатель. Это позволяет ему выйти за пределы эмоций, за пределы физики любви в область *мета*физики, сверхчувственного.

Предметом интереса Констана является не собственно (не)любовь, а то, как герой ее мыслит. Это очень точно выразил Вяземский, по словам которого, нет никого, кто был бы выше Констана в «диалектике ума и чувства». Отметим, что здесь Вяземский фактически повторял (но в положительном смысле) ту характеристику творческого метода Констана, которую давали французские критики. Например, Луи Симон Оже (Auger), известный поборник классицизма и гонитель романтиков, писал в 1816 г.:

> Разумеется, в новом сочинении г-на Бенжамена Констана видно много ума и знания сердца человеческого. К несчастью, автор принадлежит, во всяком случае в том, что касается формы, к школе романтической, наполовину страстной, наполовину метафизической, которую возглавляет в наших краях г-жа де Сталь. Исследование чувств и мыслей у подобных авторов изощрено порою сверх всякой меры, и зачастую они грешат не только темнотою выражений, но и дурным вкусом (цит. по: [14, с. 393]).

Эти слова Оже даются нами в переводе Мильчиной. Тем удивительнее комментарий, которым сопровождает цитату исследовательница: «Итак, — утверждает она, — метафизический стиль — это разбор чувств, невнятный, мелочный и изощренный сверх всякой меры» [9, с. 431][7].

Но ведь Оже говорит об «исследовании ума и чувств» и о том, что романтическая школа — это школа «наполовину страстная, наполовину метафизическая». То есть метафизическое никак не сводится к «страстному». Или точнее: метафизическое — это диалектика ума и чувства, именно так и пишет Вяземский.

Объектом критики Оже становится собственно не сама интенция автора — исследовать чувства и мысли, а то, как это делается: во-первых, метафизика и страсти перемешиваются, и в этой смеси Оже не видит никакой диалектики; во-вторых, их анализ избыточен, и, главное, они грешат темным, граничащим с дурновкусием, языком.

Для Оже как сторонника классической ясности особенно нестерпимо, что темный язык блокирует трансляцию смыслов, причем это касается как передачи оттенков чувств, так и нюансов мысли[8]. Парадокс состоит, однако, в том, что язык Констана гораздо больше ориентируется на классический язык XVIII в., чем это хотелось бы представить критикам того времени. Как точно отмечает Л.И. Вольперт,

7 Похожую претензию к роману де Сталь «Дельфина» предъявил Наполеон, определив его как «метафизику чувства, творение беспорядочного ума» (цит. по: [35, с. 456]).

8 В «Письме из Парижа» Вяземский обращает внимание на то, что Оже неправильно понимает романтизм: «Год тому Оже (Auger) читал в годичном собрании четырех академий речь о романтизме (Discours sur le Romantisme), которую прозвали манифестом против романтизма. Сообщу вам со временем выписки из нее. Теперь ограничусь одною, которая вам докажет, что Академия французская или по крайней мере уполномоченный ее оратор имеет совершенно превратное понятие о романтизме» [25, с. 60].

> сложная, противоречивая, неоднозначная психика анализируется не в романтической системе туманных формул, ассоциаций, намеков, а облечена в кристально-ясную, обнаженно-рационалистическую форму. Для Констана, наследника рационалистической традиции XVII–XVIII вв., нет вопроса о невыразимости ощущений, иррациональное выражено предельно рационально — в этом обаяние романа. Интеллектуальная проза Констана афористична, весь роман — как бы развернутый афоризм, в ткань романа органично вплетены десятки сентенций в духе Ларошфуко [3, с. 167–168].

В представлении критиков-пуристов вроде Оже «дурновкусие» романа как раз и являлось следствием такого «наложения» рационального, «конкретного» языка на абстрактную и «темную» психологическую материю. Одобряя язык политических речей Констана, Оже неодобрительно отзывается о языке его прозы, объясняя его недостатки космополитизмом и многоязычием автора «Адольфа»:

> В целом, стилю г-на Бенжамена Констана, ясному, точному, энергичному и достаточно элегантному при обсуждении политических материй, не хватает естественности, изящества, самоотречения и мягкости, которые необходимы в произведении, написанном со вкусом и воображением. Говорят о стиле беженском[9]; можно было бы также упомянуть и стиль космополитический; а именно такой, который присущ людям, проживающим поочередно в разных странах и говорящим на разных языках (цит. по: [14, с. 393]).

В России в понятие «метафизический язык» вкладывался иной смысл. В отличие от Оже, Пушкин в предуведомлении к выходу перевода Вяземского обращал внимание именно на «стройность», «светскость» и «вдохновенность» метафизического языка Констана. «Любопытно видеть, — пишет он, — каким образом опытное и живое перо князя П.А. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного» [31, с. 69][10].

9 Намек на швейцарское происхождение Констана, которое ему ставили в упрек ревнители чистоты французского языка.

10 В похожих терминах отреагировал на присылку ему Вяземским в конце 1829 г. руко-

Другими словами, «вдохновенность» языка не противоречит его «стройности», которая («всегда») является определяющим качеством романа Констана.

Мильчина также отмечает, что в России акценты расставляются иначе, чем это делают французские ангажированные критики: «метафизический» в «словоупотреблении Пушкина и его круга — положительная, одобрительная характеристика языка, приспособленного для анализа чувств» [9, с. 432]. Но опять же возникает вопрос: вновь только чувства, без мысли[11]?

Исследовательница не может, конечно, полностью игнорировать пушкинское высказывание о метафизическом языке как языке мысли. Однако понимает его опять же как язык

> не для обозначения бытовых реалий, а для отвлеченного, абстрактного разговора, но притом разговора светского, то есть такого, который подобает не кабинетным философам, а светским дамам и который посвящен не столько проблемам мироздания, сколько тонким оттенкам чувств [9, с. 432].

Вряд ли светский разговор можно вести только с дамами и только о чувствах. Вспомним хозяек многочисленных светских салонов, в том числе и мадам де Сталь, которые не только могли поддерживать светскую беседу, но и сами вырабатывали формы дискурса, приспособленного для выражения политических, военных, философских, научных и прочих более-менее отвлеченных сюжетов.

«Все прошло через слова»

Знаменательно, что в своих рассуждениях о душе мадам де Сталь затрагивает и языковую проблематику, констатируя, что язык не в состоянии отразить эту метафизику души, поскольку оперирует клишированными выражениями:

писи перевода и Е. Баратынский: «Для меня чрезвычайно любопытен перевод светского, метафизического, тонко чувственного “Адольфа” на наш необработанный язык, и перевод вашей руки» [6, с. 235].

11 Характерно, что с точки зрения любовного языка Вяземский (в статье «Новая поэма Э. Кине», 1836) считает совершенными не произведения Констана, а либертинские романы Кребийона-сына, Шодерло де Лакло и Луве де Кувре (а также Жорж Санд).

> Без сомнения, неполнота языка заставляет нас пользоваться неправильными выражениями: по обыкновению говорят, что тот или иной человек обладает разумом или воображением, или чувствительностью и т. д.; но если бы мы хотели выразиться одним словом, надо было бы просто сказать: у него есть душа, у него много души (il a de l'âme, il a beaucoup d'âme)[12] [38, с. 418].

Евгений Абдуллаев отметил, что выражение «слишком метафизический язык» (le langage <…> trop métaphysique) появляется в книге «О Германии» собственно только один раз, а в остальном де Сталь использует такие выражения, как «язык метафизиков» и «метафизика грамматики». Тем не менее Абдуллаев делает вывод, что Пушкин заимствует данное понятие именно из этого труда[13]. Хотя аргументы исследователя покоятся, как кажется на первый взгляд, на довольно зыбком основании, в целом с этим выводом можно согласиться, но с двумя оговорками.

Во-первых, понятие метафизического языка не является просто калькой с выражения, употребленного де Сталь, а отсылает, скорее, к целому комплексу значений, ставших предметом рефлексии французской писательницы.

Действительно, выражение «язык метафизиков» (la langue des métaphysiciens), встречающееся в главе «О самых знаменитых немецких философах, до и после Канта», вряд ли относится к сути дела, так как речь здесь идет лишь о «темном» языке, на каком пишутся философские труды.

Выражение «метафизика грамматики» (la métaphysique de la grammaire) кажется более релевантным; использованное в главе, где де Сталь обосновывает превосходство германских университетов над французскими, оно акцентирует внимание на том, какую важную роль играет язык в мыслительной деятельности: «…всё прошло через слова, и всё можно найти в словах, когда умеешь их проанализировать» [38, с. 110][14].

Что касается «слишком метафизического языка», Абдуллаев не со-

12 Боровков переводит это выражение как «он имеет душу, он имеет великую душу» [36, с. 178–179].

13 О том, что понятие «метафизический язык» взято у мадам де Сталь (из романа «Коринна, или Италия»), впервые написала Анна Ахматова; см.: [2].

14 Перевод отрывка из этой главы был опубликован в «Вестнике Европы» в 1815 г. (Ч. 84. № 24. С. 266–278).

всем верно трактует соответствующий пассаж «О Германии». Для де Сталь дело не в том, что этот язык использует Гёте; дело в том, что им говорит Торквато Тассо, герой одноименной пьесы Гёте, в то время как реальный итальянский поэт был далек, по мнению де Сталь, от философической рефлексивности, которую ему приписывает его немецкий собрат.

Во-вторых, не оспаривая предположения Абдуллаева о том, что пушкинский «метафизический язык» связан с «О Германии», заметим, что, на наш взгляд, это понятие могло войти вошло в пушкинский вокабуляр благодаря посредничеству Вяземского.

Как мы знаем, впервые понятие метафизического языка используется Пушкиным в кишиневском письме Вяземскому (1 сентября 1822 г.): «Предприми постоянный труд, пиши в тишине самовластия, образуй наш метафизической язык, зарожденный в твоих письмах, — а там что Бог даст» [34, с. 36].

Важно, что такой язык образуется в «тишине самовластия», т. е. процесс его создания — это демиургическое творчество. Но при этом он зарождается в письмах, т. е. в процессе коммуникации, передачи корреспонденту своей мысли. Возможно, именно из письма Вяземского (ныне утерянного) Пушкин и берет это выражение. У Вяземского же «диалектика ума и чувства» — ключевое понятие его рассуждений о романе Констана — скорее всего, действительно связана с «метафизикой души», изложенной, пусть и отрывочно, в «О Германии».

Таким образом, «метафизический язык» — это не просто язык «учености, политики и философии» (Пушкин), но и язык практической мысли, которая реализует себя в дружеском, светском, а подчас и любовном общении. Не случайно, что образцы такого языка, приспособленного для ведения беседы на научные, политические и философские темы, Вяземский находит именно в романе, где происходит своего рода «метафизическая революция», к которой призывала де Сталь и которая связана с проблематикой души как центра мысли и чувства, т. е. в романе Констана[15].

15 П. Зауи указывает, что сама дневниковая форма, которая придана роману, по сути своей метафизична, так как демонстрирует желание понять истинную, скрытую сущность своего «я», вне зависимости от тех внешних суждений, которые высказывают в отношении этого «я» другие люди. См.: [21].

В цитированном выше письме к Вяземскому от 13 июля 1825 г. Пушкин с определенностью указывает, что ориентиром для метафизического языка служит именно французский язык, причем даже не язык философии[16], а язык прозы.

Однако Пушкин несколько меняет ориентиры в 1830-е гг.; как отмечает Абдуллаев,

> признав за образец «метафизического языка» французскую прозу, Пушкин солидаризируется с Вяземским, однако вскоре отходит от защиты галлицизмов, стремясь найти некую «золотую середину» в этом споре. Это приводит к определенному изменению смысловой ауры понятия метафизического языка. Одновременно с критикой французского языка и литературы Пушкин все более признает достоинства немецкой философии. Представление о метафизическом языке как языке романной прозы дополняется (опять же, под воздействием немецкой эстетики) открытием «метафизических» возможностей в поэзии [1, с. 162].

С Вяземским дело обстоит еще сложнее: с одной стороны, его ориентация на французские образы вряд ли может быть подвергнута сомнению; с другой — Вяземский пытается сформулировать в предисловии к своему переводу «Адольфа» некий новый, европейский, ориентир, который, однако, отсылает не к какому-то национальному канону, а к наднациональному, универсальному языку светской, космополитичной элиты.

> Заметим, между тем, — пишет Вяземский, — что эти попытки совершены не над творением исключительно французским, но более европейским, представителем не французского общежития, но представителем века своего, светской, так сказать, практической метафизики поколения нашего [24, с. 34].

16 Во Франции возрождение интереса к метафизике началось лишь после того, как Виктор Кузен (Cousin) познакомился в 1817 г. с Гегелем, а также встретился с Августом Шлегелем и мадам де Сталь; эксплицитный в лекциях Кузена, в печатном виде этот интерес был зафиксирован лишь в изданных в 1826 г. «Философских фрагментах».

Именно в этом пассаже появляется, единственный раз во всем предисловии, и понятие «метафизический», причем не в приложении к собственно языку, а к практическому, светскому умонастроению и чувствованию. Если эта метафизика и имеет отношение к философии, то не потому, что она является умозрительной и передает некие абстрактные идеи, а потому, что позволяет рассмотреть ум и чувства в их диалектике. Язык, выражающий эту диалектику, будет метафизическим в той степени, в какой он сможет отразить ее слогом, который, обходясь без риторических красот минувшей эпохи, транслирует «истину»:

> Автор Адольфа силен, красноречив, язвителен, трогателен, не прибегая никогда к напряжению силы, к цветам красноречия, к колкостям эпиграммы, к *слезам слога*, если можно так выразиться. Как в создании, так и в выражении, как в соображениях, так и в слоге вся сила, все могущество дарования его — в истине [24, с. 33].

Похожие интенции можно обнаружить в речи Гёте, посвященной памяти Виланда (13 февраля 1813 г.), и в речи Фридриха Шлейермахера «О различных методах перевода» (“Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens”), прочитанной последним 24 июня того же года на заседании Королевской академии наук в Берлине[17].

Как отмечает Лоуренс Венути,

> Шлейермахеровская националистическая теория очуждающего перевода бросает вызов французскому господству[18], в надежде не только способствовать обогащению немецкой культуры, но и сформировать более либеральную публичную сферу, — ту сферу социальной жизни, где частные индивиды могут обмениваться разумными суждениями и осуществлять политическое влияние [20, с. 109].

17 См.: [15]. См. также: [13].

18 Если не учитывать робкое внимание к немецкому переводчику Иоганну Генриху Фоссу (Voß), о чьих точных переводах «Илиады» и «Одиссеи» пишет в превосходных тонах мадам де Сталь в «О Германии», французы оставались верны «независимому» переводу вплоть до выхода в 1829 г. перевода «Отелло» Шекспира, выполненного Альфредом де Виньи, и в 1836 г. шатобриановского перевода Мильтона. См.: [16]. См. также: [4].

Несомненно, что речь Шлейермахера необходимо рассматривать не только как культурный, но и как политический проект, возможность которого целиком определяется той исторической ситуацией, которая возникла после поражения Наполеона. Переводческий проект Вяземского также, несомненно, был связан со сформировавшимися после наполеоновских войн либеральными умонастроениями русской культурной элиты, травмированной подавлением восстания декабристов. Утверждать, что это историческое событие было непосредственным толчком к началу работы над переводом было бы слишком смелым, однако, на наш взгляд, не стоит и недооценивать его влияния на саму концепцию «подчиненного» перевода, поскольку последняя отражает не только стремление к встраиванию русской культурной элиты в европейскую, олицетворяемую автором «Адольфа», но и отношение к своему национальному языку как языку «свободному».

Венути отмечает, что «либеральный» проект Шлейермахера несет в себе в то же время немалый заряд немецкого культурного этноцентризма; очуждающие переводы должны использоваться

> в рамках масштабного немецкого культурно-империалистического проекта, с помощью которого языковое сообщество, «предназначенное» к мировому господству, движется к его завоеванию. Здесь национализм отождествляется с универсализмом [20, с. 109].

И далее:

> В конечном счете может показаться, что очуждающий перевод не столько внедряет иностранное в немецкую культуру, сколько использует иностранное для подтверждения и развития своей собственной идеальной культурной идентичности, в чем нетрудно усмотреть культурный нарциссизм, вооружившийся к тому же идеей исторической необходимости [20, с. 110].

Ставший очевидным к началу 1840-х гг. переход Вяземского на позиции политического и литературного консерватизма как будто бы подтверждает данный вывод. Но предпосылки этой эволюции содержатся уже в самом целеполагании Вяземского, который в предисловии к своему переводу ясно обозначает того, кому он его адресует: и это не русский чита-

тель, как можно было бы подумать, а русский *писатель*. Вяземский пишет о своем желании «познакомить русских писателей с этим романом», так что и предисловие в целом можно считать обращением к тем, кто производит и воспроизводит русский язык и русскую культуру. В данной перспективе «всемирная отзывчивость» русского языка и культуры оказывается формой выработки русского универсалистского сознания, претендующего на «всеевропейскость» и «всемирность», которые получили свое законченное концептуальное выражение в пушкинской речи Ф.М. Достоевского, декларативно объявлявшего «готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода» [27, с. 147].

«Вся драма в человеке, все искусство в истине»

В предисловии к «Адольфу» политические импликации переводческой деятельности выражены еще, конечно, не слишком явно. Вяземский предпочитает оперировать понятиями «почвы», его интересует прежде всего форма, которая буквально манифестирует себя в «запахе, отзыве чужбины», в «природе» в целом, которая здесь понимается как эквивалент языка, т. е. в том, что доступно чувственному познанию:

> О слоге автора, то есть о способе выражения, и говорить нечего: это верх искусства, или, лучше сказать, природы: таково совершенство и так очевидно отсутствие искусства или труда. Возьмите на удачу любую фразу: каждая вылита, стройна как надпись, как отдельное изречение. Вся книга похожа на ожерелье, нанизанное жемчугами, прекрасными по одиночке, и прибранными один к другому с удивительным тщанием: между тем нигде не заметна рука художника [24, с. 33].

С одной стороны, ценность языка Констана состоит в том, что он не есть «снимок» природы, добытый «искусством» или «трудом», а как бы сам есть природа. С другой стороны, книга собирается из отдельных «природных» фраз-жемчужин в некое «сверхприродное» «симметричное» ожерелье (Вяземский ниже говорит о «симметрии слов»), формируемое трудом, искусством, причем руки самого художника не видно. Здесь есть результат труда, но нет самого процесса труда, как нет и того, кто трудится. Иными

словами, язык Констана — это язык природы плюс язык искусства, но не как субъективного движения «души», а как воплощенной в словах «диалектики ума и чувства». Вяземский сравнивает это «объективное» искусство, работающее напрямую с природой, а не с ее репрезентациями, с искусством военачальника, который «знает, как расставить свои войска, какое именно на ту минуту и на том месте употребить оружие, чтобы нанести решительный удар», и с искусством композитора, который «знает, как инструментировать свое гармоническое соображение» [25, с. 33].

На первый взгляд, Констан, в изложении Вяземского, предстает здесь типичным представителем классицизма с его стремлением не воспроизвести природу такой, какой она видится наблюдателю, а заключить ее в рамки строгой эстетической модели, которая подразумевает ее гармонизацию. Такова природа на картинах классицистов — симметричная, «расставленная», «инструментированная». Неудивительно, что Вяземский цитирует здесь высказывание из «Поэтического искусства» (Art poétique, 1674) Николя Буало о Франсуа де Малербе: “D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir” («И, разместив слова, удвоил тем их власть», пер. Э. Линецкой [22, с. 61]). По его мнению, это высказывание наилучшим образом характеризует и слог Констана[19].

Но что же тогда делает «Адольфа» тем актуальным текстом, в котором «отразился век и современный человек изображен довольно верно» («Евгений Онегин», гл. VII [29, с. 129]; цитируется неполностью в предисловии к переводу «Адольфа»)? Только ли то, что характер Адольфа, пораженного хроническим «недугом сердца», есть «верный отпечаток времени своего»? [24, с. 31] Если слог Констана есть природа в своем пространственном воплощении, то характер Адольфа точно отражает само время. Но этого мало:

19 Констан работал над романом в 1806–1810 гг. Прочитав его не позднее октября 1816 г., Вяземский приступает к его переводу спустя более 10 лет, когда, к слову, во французской литературе начинают появляться тексты Гюго, Бальзака, Ж. Жанена и др., условно относимые к жанру «неистовой словесности», на фоне которых роман Констана кажется довольно архаичным. Действительно, сама форма романа — мемуар, найденный «издателем» в бумагах таинственного путешественника и дополненный паратекстом — предуведомлением от издателя, письмом читателя и ответом издателя на него, — а также склонность к отрывистому, рубленому синтаксису свидетельствуют о том, что Констан находился под большим влиянием литературы эпохи Просвещения и был «записан» в романтики немного преждевременно. В.А. Мильчина отмечает, что ни третье (1824), ни четвертое (1828) издания романа не вызвали особого интереса у читателей [9, с. 415].

в сущности, Адольф сам формирует это время как современную историю, в которой «частная драма» имплицитно проецируется на «драматическое волнение трибуны, исполинский ход *стодневной эпопеи* и романтические события современной эпохи, которые некогда будут историею» [24, с. 30][20].

Несмотря на то что, как отмечает Ц. Тодоров [19, с. 204], сюжет в «Адольфе» разворачивается как будто бы вне социального и исторического контекста, сама организация текста — его краткость, стилистическая и нарративная «строгость» — транслируют убежденность автора в жестком детерминизме, который проявляет себя не только в личной жизни (история Адольфа и Элленоры неизбежно должна завершиться катастрофой), но и в политическом действии. По словам Тодорова, Констан-политик, свидетель взлета и падения Наполеона, пришел к мысли о том, что

> не только институции и общественное мнение зависят от времени и места своего возникновения, но и, более того, этот детерминизм невозможно преодолеть. Абсолютная необходимость царит в истории человеческих сообществ (этот тезис, ставший банальностью к концу XIX века, был новшеством во времена Констана) [19, с. 64].

Констан организует свой романный мир не как мир романических условностей и дешевых драматических эффектов, а именно как разворачивающуюся на наших глазах «И/историю», которая состоит из умолчаний, лакун, недоговоренностей, но стремится при этом к заранее запрограммированному концу. Вяземский особо подчеркивает, что в «Адольфе» недоговаривание становится доминирующим приемом:

> Автор не прибегает к драматическим пружинам, к многосложным действиям, к сим вспомогательным пособиям театрального или романического мира. В драме его не видать ни машиниста, ни декоратора. Вся драма в человеке, все искусство в истине. Он только указывает, едва обозначает поступки, движения своих действующих лиц. Все, что в другом романе было бы, так сказать, содержанием, как то: приключения, неожиданные переломы —

20 В своей рецензии на «Прозу о любви» С. Зенкин справедливо упрекает В. Мильчину за отказ историзировать романную прозу Констана и за предпочтение, отданное психологизирующей интерпретации сюжета и характеров. См.: [5, с. 259–264].

одним словом, вся кукольная комедия романов, здесь оно ряд указаний, заглавий [24, с. 30–31].

При том что слог Констана, с одной стороны, апеллирует к зрению (фразы как «надписи» и как набор «жемчугов»), а с другой — актуализирует понятие «власти» в смысле «силы» (как у Малерба), само развитие нарратива подчинено не законам романной техники, а действию «глухой, потаенной силы», которая, однако, доступна «изучению»:

> Охотно отказываешься от требований на волнение в переворотах первой, на пестроту в красках ее, довольствуясь, что вслед за автором изучаешь глухое, потаенное действие силы, которую более чувствуешь, нежели видишь. И кто не рад бы предпочесть созерцанию красот и картинных движений живописного местоположения откровение таинств природы и чудесное сошествие в подземную святыню ее, где мог бы он, проникнутый ужасом и благоговением, изучать ее безмолвную работу и познавать пружины, коими движется наружное зрелище, привлекавшее любопытство его? [24, с. 31]

Перевод как метафразис

В заключение стоит отметить, что новаторский переводческий подход Вяземского может быть сопоставлен с опытом немецкого поэта Фридриха Гёльдерлина, который перевел в 1804 г. «Царя Эдипа» Софокла и изложил свое видение перевода в «Примечаниях к Эдипу»[21]. Этот перевод послужил основой для выработки Филиппом Лаку-Лабартом (Lacoue-Labarthe) концепции перевода как метафразиса, основные положения которой поразительно напоминают рассуждения как Шлейермахера, так и Вяземского. Лаку-Лабарт подчеркивает, что хотя метафразис в древнегреческом языке обозначает собственно перевод, приставка «мета» коннотирует также практику *парафразирования*, т. е. «говорения вслед кому-то», и, более того,

21 Гёльдерлин, в частности, заявляет: «Будет правильно, если гарантировать, даже у нас, поэтам гражданское существование, если поднять, даже у нас, поэзию, учитывая различие эпох и установлений, на высоту μηχανή Древних. Прочим произведениям искусства, в сравнении с греческими, недостает также крепости; по крайней мере, вплоть до настоящего времени о них судили скорее в зависимости от впечатлений, которые они производят, нежели от расчета их основоположения и прочих начинаний, благодаря которым производится прекрасное» [26].

практику, которую французский философ возводит к Аристотелю и которая заключается в *сюрфразировании*:

> Было разработано, и со времен Канта стало необходимым понятие *метафизики*, обозначающее собственный поворот спекулятивной мысли в наивысшей ее направленности. Что предполагало, как во французском переводе греческого слова *métaphora* через слово «перенос» <…> или одновременно и самое древнее и самое банальное сегодня значение, которое мы слышим в *méta*, то есть вкупе *транс*, *супер* или *супра* или даже *сюр* (в таких, например, словах, как «сюрнатуральный», «сюрнатурализм» — это выражение Бодлера — или «сюрреализм»), или вообще «по ту сторону», «потустороннее»… Именно так мне хотелось бы, чтобы понимался метафразис, который послужит для обозначения попытки Гёльдерлина, этой отчаянной и в конечном итоге невразумительной манеры *перефразировать*, сюрфразировать Софокла (или вообще греков) [17] (цит. по: [10, с. 194])[22].

Помимо политического измерения, а именно формирования национальной культуры с помощью «переселения» чужого на родную почву, сохранив, как говорит Вяземский, «в переселении запах, отзыв чужбины, какое-то областное выражение» [24, с. 34], понятие метафразиса заставляет нас по-новому взглянуть и на концепт метафизического языка, взыскуемого Пушкиным и Вяземским: подобно тому как метафразис есть не просто «перенос», но также и рефлексия по поводу этого переноса, так и метафизический язык — это не просто «язык мыслей», а «язык мысли», т. е. язык, вопрошающий прежде всего об основах собственного бытия.

22 Как поясняет С.Л. Фокин, «самое важное здесь в том, что перевод не есть ни подражание, ни мимезис вообще, ибо конечной целью Гёльдерлина является не телесный и текстуальный повтор Софокла и греков вообще, а его перенос — в трагическом восхищении, похищении, — и переселение на немецкую почву. Словом, в метафразисе, как его понимает Лаку-Лабарт, перевод ищет не повтора того же самого, а такого различия, в котором явилось бы в полном свете собственно немецкое, национальное, в противовес греческому и грекам, которых уже давным-давно нет…» [10, с. 195]. См. также: [11].

Ж.-П. Першелле обращает внимание, анализируя языковые сложности у Констана, на то, что в одном из своих дневников тот использует греческий алфавит, чтобы создать «чистый и аутентичный» язык, противоположный языку повседневному; см.: [18, с. 360].

Список литературы

Исследования

1 *Абдуллаев Е.* «Образуй наш метафизический язык»: история одного пушкинского термина в контексте литературно-философских дискуссий 1820-х годов // Вопросы литературы. 2014. № 1. С. 144–164.

2 *Ахматова А.А.* «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. Вып. 1. С. 91–114.

3 *Вольперт Л.И.* «Адольф» Бенжамена Констана в переводах П.А. Вяземского и Н.А. Полевого // Пушкин и его современники. Псков: [Б. и.], 1970. С. 161–178. (Ученые записки ЛГПИ им. Герцена, № 434).

4 *Долинин А.А.* Пропущенная цитата в статье Пушкина «О Мильтоне и шатобриановом переводе “Потерянного рая”» // *Долинин А.А.* Пушкин и Англия. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 216–225.

5 *Зенкин С.Н.* Романы Констана // Иностранная литература. 2006. № 12. С. 259–264.

6 Летопись жизни и творчества Е.А. Боратынского / сост. А.М. Песков. М.: Новое литературное обозрение, 1998. 496 с.

7 *Мильчина В.А.* «Адольф» Бенжамена Констана в переводе П.А. Вяземского: поиски метафизического языка // Вестник истории, литературы, искусства. 2006. Т. 2. С. 128–138.

8 *Мильчина В.А.* «Адольф» Бенжамена Констана в трактовке П.А. Вяземского и А.С. Пушкина: «сын века» и «метафизический язык» // *Мильчина В.А.* «И вечные французы...»: одиннадцать статей из истории французской и русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 60–74.

9 *Мильчина В.А.* Комментарии // *Констан Б.* Проза о любви. М.: ОГИ, 2006. С. 409–543.

10 *Фокин С.Л.* «Европейский текст» Фридриха Гёльдерлина: между отчизной и чужбиной // Фридрих Гёльдерлин и идея Европы. СПб.: Платоновское философское общество, 2017. С. 172–202.

11 *Фокин С.Л.* Перевод как незадача русской философии: Шестов, Бахтин, Подорога... Пушкин // Логос. 2011. Т. 21, № 5. С. 232–233.

12 *Холмская О.* Пушкин и переводческие дискуссии пушкинской поры // Мастерство перевода. М.: Сов. писатель, 1959. С. 305–367.

13 *Berman A.* L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin. Paris: Gallimard, 1984. 311 p.

14 *Delbouille P.* Genèse, structure et destin d’Adolphe. Paris: Société d’Edition “Les Belles Lettres”, 1971. 643 p.

15 Friedrich Schleiermacher and the Question of Translation / ed. by L. Cercel, A. Serban. Berlin; Boston: De Gruyter, 2015. 265 p.

16 Histoire des traductions en langue française, XIX^{e} siècle (1815–1914) / sous la direction

d’Y. Chevrel, L. D’Hulst, Ch. Lombez. Lagrasse: Verdier, 2012. 1376 p.
17 *Lacoue-Labarthe Ph.* Métaphrasis. Paris: PUF, 1998. 73 p.
18 *Perchellet J.-P.* Benjamin Constant ou la parole brisée // Cahiers de l’Association internationale des études francaises. 1996. № 48. P. 355–370.
19 *Todorov T.* A Passion for Democracy — Benjamin Constant / trad. A. Seberry. New York: Algora publishing, 1999. 243 p.
20 *Venuti L.* The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London; New York: Routledge, 1995. 344 p.
21 *Zaoui P.* Le journal intime comme métaphysique dernière // Études. 2010. Vol. 412, № 6. P. 797–808.

Источники

22 *Буало Н.* Поэтическое искусство / пер. Э.Л. Линецкой М.: ГИХЛ, 1957. 232 с.
23 *Вяземский П.А.* О разборе трех статей, помещенных в Записках Наполеона // *Вяземский П.А.* Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 53–56.
24 *Вяземский П.А.* От переводчика // *Констан Б.* Проза о любви. М.: ОГИ, 2006. С. 29–34.
25 *Вяземский П.А.* Письмо из Парижа // *Вяземский П.А.* Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 57–64.
26 *Гёльдерлин Ф.* Примечания к Эдипу (пер. С. Фокина) // ESSE: Философские и теологические исследования. 2016. Т. 1, № 2. URL: Фридрих Гёльдерлин. Примечания к Эдипу. — ESSE (esse-journal.ru) (дата обращения: 20.11.2022).
27 *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя на 1880 год, август // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 26. С. 129–174.
28 Остафьевский архив князей Вяземских. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. Т. 1: Переписка П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1812–1819; Т. 2: Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым, 1820–1823. 735 с. + 375 с.
29 *Пушкин А.С.* Евгений Онегин // *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. С. 8–184.
30 *Пушкин А.С.* О г-же Сталь и о г. А. М-ве // *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 7. С. 17–19.
31 *Пушкин А.С.* О переводе романа Б. Констана «Адольф» // *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 7. С. 68–69.
32 *Пушкин А.С.* О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова // *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 7. С. 19–24.
33 *Пушкин А.С.* Письмо к П.А. Вяземскому от 13 июля 1825 г. // *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1979. Т. 10. С. 120.
34 *Пушкин А.С.* Письмо к П.А. Вяземскому от 1 сентября 1822 г. // *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1979. Т. 10. С. 35–36.
35 *Сталь Ж. де.* О литературе, рассмотренной в связи с общественными установле-

ниями / пер. В.А. Мильчиной. М.: Искусство, 1989. 483 с.
36 *Сталь Ж. де.* О философии англичан / пер. А. Боровков // Соревнователь просвещения и благотворения: Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей российской словесности. 1819. Ч. V. Кн. 2. С. 171–194.
37 *Толстой Л.Н.* Война и мир // *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1938. Т. 10. 430 с.
38 *Staël A.L.G. de.* De l'Allemagne. Paris: G. Charpantier et Cie, 1890. 628 p.

References

1 Abdullaev, E. "'Obrazui nash metafizicheskii iazyk': istoriia odnogo pushkinskogo termina v kontekste literaturno-filosofskikh diskussii 1820-kh godov" ["'Form our Metaphysical Language': A History of a Notion by Pushkin in the Context of Literary and Philosophical Discussions of the 1820"]. *Voprosy literatury*, no. 1, 2014, pp. 144–164. (In Russ.)
2 Akhmatova, A.A. "'Adol'f' Benzhamena Konstana v tvorchestve Pushkina" ["'Adolphe' by Benjamin Constant in Pushkin's Oeuvres"]. *Pushkin: Vremennik Pushkinskoi komissii* [*Pushkin: Proceedings of Pushkin Commission*], issue 1. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1936, pp. 91–114. (In Russ.)
3 Vol'pert, L.I. "'Adol'f' Benzhamena Konstana v perevodakh P.A. Viazemskogo i N.A. Polevogo" ["'Adolphe' by Benjamin Constant Translated by Pyotr Vyasemsky and Nikolai Polevoy"]. *Pushkin i ego sovremenniki* [*Pushkin and his Contemporaries*]. Pskov, [S. n.], 1970, pp. 161–178. (In Russ.)
4 Dolinin, A.A. "Propushchennaia tsitata v stat'e Pushkina 'O Mil'tone i Shatobrianovom perevode *Poteriannogo raia*'." ["An Omitted Quotation in Pushkin's Article 'On Milton and the Translation of *Paradise Lost* by Chateaubriand'."]. Dolinin, A.A. *Pushkin i Angliia* [*Pushkin and England*]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2007, pp. 217–225. (In Russ.)
5 Zenkin, S.N. "Romany Konstana" ["Constant's Novels"]. *Inostrannaia literatura*, no. 12, 2006, pp. 259–264. (In Russ.)
6 *Letopis' zhizni i tvorchestva E.A. Boratynskogo* [*Chronicle of the Life and Works by E. Baratynsky*], comp. A.M. Peskov. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 1998. 496 p. (In Russ.)
7 Mil'china, V.A. "'Adol'f' Benzhamena Konstana v perevode P.A. Viazemskogo: poiski metafizicheskogo iazyka" ["'Adolphe' by Benjamin Constant Translated by Pyotr Vyasemsky: Searching for a Metaphysical Language"]. *Vestnik istorii, literatury, iskusstva*, vol. 2, 2006, pp. 128–138. (In Russ.)
8 Mil'china, V.A. "'Adol'f' Benzhamena Konstana v traktovke P.A. Viazemskogo i A.S. Pushkina: 'syn veka' i 'metafizicheskii iazyk'." ["'Adolphe' by Benjamin Constant Interpreted by Pyotr Vyasemsky: 'Son of the Century' and 'Metaphysical Language'."].

Mil'china, V.A. *"I vechnye frantsuzy...": odinnadtsat' statei iz istorii frantsuzskoi i russkoi literatury* [*"And the Eternal French...": Eleven Articles from the History of French and Russian Literature*]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2021, pp. 60–74. (In Russ.)
9 Mil'china, V.A. "Kommentarii" ["Commentaries"]. Konstan, B. *Proza o liubvi* [*Love Prose*]. Moscow, OGI Publ., 2006, pp. 409–543. (In Russ.)
10 Fokin, S.L. "'Evropeiskii tekst' Fridrikha Gel'derlina: mezhdu otchiznoi i chuzhbinoi" ["'The European Text' by Friedrich Hölderlin: Between Fatherland and Foreign Land"]. *Fridrikh Gel'derlin i ideia Evropy* [*Friedrich Hölderlin and the Idea of Europe*]. St. Petersburg, Platonovskoe filosofskoe obshchestvo Publ., 2017, pp. 172–202. (In Russ.)
11 Fokin, S.L. "Perevod kak nezadacha russkoi filosofii: Shestov, Bakhtin, Podoroga... Pushkin" ["Tranlsation as a Non Task of Russian Philosophy: Shestov, Bakhtin, Podoroga... Pushkin"]. *Logos*, vol. 21, no. 5, 2011, pp. 232–233. (In Russ.)
12 Kholmskaia, O. "Pushkin i perevodcheskie diskussii pushkinskoi pory" ["Pushkin and the Discussions on Translation of his Time"]. *Masterstvo perevoda* [*The Skill of Translation*]. Moscow, Sovetskii pisatel' Publ., 1959, pp. 305–367. (In Russ.)
13 Berman, Antoine. *L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin*. Paris, Gallimard, 1984. 311 p. (In French)
14 Delbouille, Paul. *Genèse, structure et destin d'Adolphe*. Paris, Société d'Edition "Les Belles Lettres," 1971. 643 p. (In French)
15 Şerban, Adriana, and Larisa Cercel, editors. *Friedrich Schleiermacher and the Question of Translation*. Berlin, Boston, De Gruyter, 2015. 265 p. (In English)
16 *Histoire des traductions en langue française, XIX^{e} siècle (1815–1914)*, sous la dir. d'Y. Chevrel, L. D'Hulst, Ch. Lombez. Lagrasse, Verdier, 2012. 1376 p. (In French)
17 Lacoue-Labarthe, Philippe. *Métaphrasis*. Paris, PUF, 1998. 73 p. (In French)
18 Perchellet, Jean-Pierre. "Benjamin Constant ou la parole brisée." *Cahiers de l'Association internationale des études francaises*, no. 48, 1996, pp. 355–370. (In French)
19 Todorov, Tzvetan. *A Passion for Democracy — Benjamin Constant*, trans. by A. Seberry. New York, Algora Publ., 1999. 243 p. (In English)
20 Venuti, Lawrence. *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London, New York, Routledge, 1995. 344 p. (In English)
21 Zaoui, Pierre. "Le journal intime comme métaphysique dernière." *Études*, vol. 412, no. 6, 2010, pp. 797–808. (In French)